

НАТАЛЬЯ ХМЕЛЁВА

КОГДА ВЗЛЕТАЮТ ПЕПЛОМ ОРИГАМИ

Нет у него имён,
весело жить одной:
вечной невестой, глазки – как два колодца.
Веришь, в конце времён
станут его женой
девушки, засмотревшиеся на солнце.
Он всегда в бегах,
а ты свой зажги очаг,
пусть огонь согреет суженого, и он
высоко, где зябка, тоже заварит чай,
высоко, где пусто, в твой окунётся сон.

Уснёшь, проснёшься в новом теле –
уйдёт усталость без следа.
Гляди: внезапных превращений
нечаянная череда
заставит вдумчивей проститься
и новый кто-то соберёт
свой мир случайный по крупицам,
себя не зная наперёд.
Не оттого ли так неловко
путать словами тишину,
что Рейн бездомной полукровкой
переливается в весну,
покинув праздное веселье,
втечёт к тому, кто домик свил,
войдёт эпохой новоселий
в холодные подвалы вилл –
и, с миром заключая мир,
узнает тех, кто нас забросил
сюда, в наполненный людьми
трамвай, бегущий мимо сосен...

Глядясь во что-то,
можно этим стать.
Как эта мысль ужасна и проста.
Не время для метафор: правда в ливне.

Поднимешь ил
со дна бессонных лет,
в ладони уголь,
а ладонь — в угле,
и колокол надтреснутый в крапиве.
Пластмассовые вывески, карьер,
Подгнившие заборы, переулок.
И ты сказал:
там мог стоять любой,
но я клянусь: то я
была с тобой.
Потом, как ты,
в июльский
гром нырнула.
Мы — вечный Ипр,
что винтовые сваи
Из грунта порождает семимильно.
Мы — персы, но никто не называет
Нас персами, всё больше пофамильно —
Бредём через цветущий сталью сад,
И наши волосы уже горят.
Блаженные, гуляем под дождём,
Под фосфорным дождём бредём кругами.
Забудешь, для чего ты был рождён,
Когда взлетают пеплом оригами.

Растёшь своим путём к спасению,
как стебелек качаясь тонкий,
но холодна звезда осенняя
на утреннем своём востоке,
и синь легла в ладони веточкам
протянутым, как древний хаос,
наверх, и вшитываясь в клеточки
коры их, смотрит, что осталось:
из века прошлого, свободного
здесь только сон приберегли.
...Ты мир с плеча бросал мне под ноги —
а мне казалось — то угли.

Что я скажу, глядя в глаза
людям, которые как гроза
вечно приходят в обед, когда пауза
и в волосах
пепел и затерявшийся Дон Кихот?
Я его тяну, истончая в талии.
Он не рвётся — только луной блестит.
В нём Париж и Славянск, ещё Анталия,
он покрыт серебряным злым грехом,
режет пальцы, я смеюсь над ним:
Хо-хо-хо.
Завтра будешь белая как крахмал,
два диплома, Хайдеггер по верхам.

То ли время стало каким-то плотным,
сжалось всё как зверь – и поди-ка тронь,
то ли красота на иных полотнах
опадает краской сухой в ладонь...
Булочник розовощёкий приходит в два.
Я ищу приметы его родства
с миром детства, маленьким как печать
красного сургуча.
Нахожу едва.

Сама исполняешь свой список простых поручений:
сжечь старые письма, взойти под их пеплом озимой.
Бельё на морозе ломается, словно печенье.
И веет озоном – и чем-то невыразимым.
Во всём, чем мы стали, порядок найдётся едва ли:
мы неотличимы от птицы, сидящей на ветке.
Покоится сдобное тесто под бережной марлей,
под снегом и глиной покоятся скифские предки.
– Мы дома! Мы дома!
В чернильной родной пустоте...
Не спрашивай, кутаясь в дым от свечного огарка,
найду ли родство между голубём этим – и тем
седым собирателем крошек на площади Марко.

Какая сила Сизифа в гору вела
не ступевался под взглядом всего села
камень катил свой в гору, весна цвела
у него в груди
Бабы в селе шептались: устал Сизиф,
что творит, упал и лежит в грязи,
а по юности был хоть куда красив.
Погляди –
те, бабоньки, как постарел и сдал,
свет очей, подайте ради Христа
что гора вам люди гора не та
отпусти
сдайся гравитации жди пришествия
брось валун здесь начинают шествие
ластиком стирают людей вокруг
Катышки падают с листика, снова чисто
здесь случилось таинство Евхаристии
о, вгрызайся в камень, как Фрейды в детство
уничтожение
естественных первопричин движения
может мотивировать на совершение
монотонных
монотонных
необъяснимых действий.

Тяжёлая вина – земная мать:
ловушка сфер, фигурка из стекла.
Скорее в сон! Забыться, убежать –
раз бестелесность в тело облекла.

А в чём ещё повинна, как и ты
повиновен будешь, кроме этой кражи?
В стяжательстве энергий у воды,
(и зря стоял Данубиус на страже!)

Кто заточил все сотни измерений
в живую плоть, чтобы иссечь углы?
...А это я. И вот мои колени.
И свитера, которые малы.

Ни о чём не жалеет сухой
и спокойный октябрь.
В его тёмных подвалах лежит
золотой инвентарь.
А поднимешься вдруг
по воздушным ступеням наверх,
где соседствует с плачем нарочным
неузнанный смех –
и заплатишь мздоимцу
за вдох и за выдох отдашь
всё, что там соберёшь,
чтобы вечный
построить шалаш.
Оттого так богат этот месяц,
что требует дань:
десятину от каждой любви
и иного труда.

Приходят с верой – посмотри –
слова, которые внутри
дрожат, готовые сорваться
<по капле света фонари
тепло расстрачивают, вкратце
себя зернисто изложив
светящимся, как этажи,
каким-то новым Лорелеям> –
но выдай тайну мне, скажи,
каким мы чудом молодеем,
и почему нам так легко,
размахивая рукавами,
разлить и мёд, и молоко
<но мы стоим, как древний камень,
но мы стоим, как в горле ком>,
и почему у стариков
лицо как девственный пергамент?